

ФРИДРИХ НИЦШЕ

ПО ТУ СТОРОНУ
ДОБРА И ЗЛА

ПРЕЛЮДИЯ
К ФИЛОСОФИИ
БУДУЩЕГО



МОСКВА
2017

САМЫЕ ЗНАМЕНИТЫЕ АФОРИЗМЫ
ФРИДРИХА НИЦШЕ

Познавший самого себя — собственный палач.

*В толпе нет ничего хорошего,
даже когда она бежит вслед за тобой.*

Быть великим — это значит давать направление.

*С человеком происходит то же, что и с деревом:
чем больше стремится он вверх, к свету,
тем глубже впиваются корни его в землю,
вниз, в мрак и в глубину, — ко злу.*

Я ненавижу людей, не умеющих прощать.

*Мораль — это важничанье человека
перед природой.*

**САМЫЕ ЗНАМЕНИТЫЕ АФОРИЗМЫ
ФРИДРИХА НИЦШЕ**

*Человек навсегда прикован к прошлому:
как бы далеко и быстро он ни бежал —
цепь бежит вместе с ним.*

*Вещи, которых мы больше всего стыдимся.
не всегда худшее: не только коварство прячется
под маской — в хитрости бывает
так много доброты.*

*Чем свободнее и сильнее индивидуум,
тем взыскательнее становится его любовь;
наконец он жаждет стать сверхчеловеком,
ибо все прочее не утоляет его любви.*

*Стремление к величию выдает с головой —
кто обладает величием, тот стремится к доброте.*

Человек есть нечто, что должно превзойти.

*Бог умер — теперь мы хотим,
чтобы жил сверхчеловек.*

ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

Фридрих Вильгельм Ницше (1844—1900) — выдающийся немецкий мыслитель, поэт, филолог, создатель учения, оказавшего огромное влияние на развитие философской мысли XX века. В своих трудах Ницше безжалостно препарировал сложившиеся в обществе принципы морали, религии, культуры, отношений между людьми. Особенностями его философии стали подчеркнутая академичность и афористичная манера изложения. Именно поэтому его книги трудно поддаются анализу — мысль автора находится в постоянном становлении и может вызывать совершенно противоположные оценки.

Все вышесказанное в полной мере относится и к представленной вниманию читателя работе «По ту сторону добра и зла». Она была написана автором зимой 1885–1886 года. В письме другу Ницше отмечал: «Ужасная книга, проистекающая на сей раз из моей души, — очень черная, почти карака-тица. Меня она бодрит — как если бы я взял нечто “за рога”: по всей очевидности, не “быка”».

А один из рецензентов, редактор бернского издания «Бунд» И.-В. Видман, писал об этом труде: «Те запасы динамита, которые были использованы при строительстве Готардской дороги, хранились под черным предупредительным флагом, указующим на смертельную опасность. Только в этом смысле говорим мы о новой книге философа Ницше как об опасной книге». Сравнение очень точное — и мы снова употребим по отношению к Фридриху Ницше эпитет «безжалостный». Он без тени сомнения закладывает динамит под базис морали и взаимоотношений в обществе, но цель у него благороднейшая — показать, насколько смертоносна современная цивилизация для человеческой души...

Предисловие

Предположим, что истина есть женщина,— как, разве мы не вправе подозревать, что все философы, поскольку они были догматиками, плохо понимали женщин? Что ужасающая серьезность, неуклюжая назойливость, с которой они до сих пор относились к истине, были непригодным и непристойным средством для того, чтобы расположить к себе именно женщину?

Да она и не поддавалась соблазну — и всякого рода догматика стоит нынче с унылым и печальным видом. Если только она вообще еще стоит! Ибо есть насмешники, утверждающие, что она пала, что вся догматика повержена, даже более того — что она находится при последнем издыхании. Говоря серьезно, есть довольно прочные основания для надежды, что всякое догматизирование в философии, какой бы торжественный вид оно ни принимало, как бы ни старалось казаться последним словом, было только благородным ребячеством и начинанием.

И быть может, недалеко то время, когда снова поймут, чего, собственно, было уже достаточно для того, чтобы служить краеугольным камнем таких величественных и безусловных философских построек, какие возводились до сих пор догматиками, — какое-нибудь народное суеверие из незапамятных времен (как, например, суеверие души, еще и донныне не переставшее бесчинствовать под видом суеверных понятий «субъект» и «Я»), возможно, какая-нибудь игра слов, какой-нибудь грамматический соблазн или смелое обобщение очень узких, очень личных, человеческих, слишком человеческих фактов. Будем надеяться, что философия догматиков была только обетованием на тысячелетия вперед, подобно тому как еще ранее того астрология, на которую было затрачено, быть может, больше труда, денег, остроумия, терпения, чем

на какую-нибудь действительную науку,— ей и ее «сверхземным» притязаниям обязаны Азия и Египет высоким стилем в архитектуре.

Кажется, что все великое в мире должно появляться сначала в форме чудовищной, ужасающей карикатуры, чтобы навеки запечатлеться в сердце человеческом: такой карикатурой была догматическая философия, например учение Веданты в Азии и платонизм в Европе. Не будем же неблагодарны по отношению к ней, хотя мы и должны вместе с тем признать, что самым худшим, самым томительным и самым опасным из всех заблуждений было до сих пор заблуждение догматиков, именно выдумка Платона о чистом духе и о добре самом по себе.

Но теперь, когда оно побеждено, когда Европа освободилась и от этого кошмара и по крайней мере может наслаждаться более здоровым... сном, мы, чью задачу составляет само бдение, являемся наследниками всей той силы, которую взрастила борьба с этим заблуждением. Говорить так о духе и добре, как говорил Платон,— это значит, без сомнения, ставить истину вверх ногами и отрицать саму перспективность, т. е. основное условие всяческой жизни. Можно даже спросить, подобно врачу: «Откуда такая болезнь у этого прекраснейшего отпрыска древности, у Платона? Уж не испортил ли его злой Сократ? Уж не был ли Сократ губителем юношества? И не заслужил ли он своей цыкуты?»

Но борьба с Платоном, или, говоря понятнее и для «народа», борьба с христианско-церковным гнетом тысячелетий — ибо христианство есть платонизм для «народа», — породила в Европе роскошное напряжение духа, какого еще не было на земле: из такого туго натянутого лука можно стрелять теперь по самым далеким целям.

Конечно, европеец ощущает это напряжение как состояние тягостное, и уже дважды делались великие попытки ослабить

тетиву: раз посредством иезуитизма, другой посредством демократического просвещения — последнее при помощи свободы прессы и чтения газет в самом деле может достигнуть того, что дух перестанет быть «в тягость» самому себе! (Немцы изобрели порох — с чем их поздравляю! Но они снова расквитались за это — они изобрели прессу.) Мы же, не будучи ни иезуитами, ни демократами, ни даже в достаточной степени немцами, мы, добрые европейцы и свободные, очень свободные умы, — мы ощущаем еще и всю тягость духа, и все напряжение его лука! А может быть, и стрелу, задачу — кто знает? — цель...

*Зильс-Мария, Верхний Энгадин.
Июнь 1885 г.*

ОТДЕЛ ПЕРВЫЙ:

О предрассудках философов

1

Воля к истине, которая соблазнит нас еще не на один от-важный шаг, та знаменитая истинность, о которой до сих пор все философы говорили с благоговением,— что за вопросы предъявляла уже нам эта воля к истине! Какие странные, коварные, достойные внимания вопросы!

Долго уже тянется эта история — и все же кажется, что она только что началась. Что же удивительного, если мы наконец становимся недоверчивыми, теряем терпение, нетерпеливо отворачиваемся? Если мы, в свою очередь, учимся у этого сфинкса задавать вопросы? *Кто*, собственно, тот, кто предлагает нам здесь вопросы? *Что*, собственно, в нас хочет «истины»?

Действительно, долгий роздых дали мы себе перед вопросом о причине этого хотения, пока не остановились окончательно перед другим, еще более глубоким. Мы спросили о *ценности* этого хотения. Положим, мы хотим истины — *отчего же лучше* не лжи? Сомнения? Даже неведения? Проблема ли ценности истины предстала нам, или мы подступили к этой проблеме? Кто из нас здесь Эдип? Кто Сфинкс? Право, это какое-то свидание вопросов и вопросительных знаков. И поверит ли кто, что в конце концов нам станет казаться, будто проблема эта еще никогда не была поставлена, будто впервые мы и увидели ее, обратили на нее внимание, *отважились* на нее? Ибо в этом есть риск и, может быть, большего риска и не существует.

«Как могло бы нечто возникнуть из своей противоположности? Например, истина из заблуждения? Или воля к истине из воли к обману? Или бескорыстный поступок из своекорыстия? Или чистое, солнцеподобное созерцание мудреца из ненасытного желания? Такого рода возникновение невозможно; кто мечтает о нем, тот глупец, даже хуже. Вещи высшей ценности должны иметь другое, *собственное* происхождение — в этом преходящем, полном обольщений и обманов ничтожном мире, в этом сплетении безумств и вождлений нельзя искать их источников!

Напротив, в недрах бытия, в непреходящем, в скрытом божестве, в “вещи самой по себе” — там их причина, и нигде иначе!» Такого рода суждение представляет собой типичный предрассудок, по которому постоянно узнаются метафизики всех времен; такого рода установление ценности стоит у них на заднем плане всякой логической процедуры. Исходя из этой своей «веры», они стремятся достигнуть «знания», получить нечто такое, что напоследок торжественно окрещивается именем «истины».

Основная вера метафизиков есть *вера в противоположность* ценностей. Даже самым осторожным из них не пришло на ум усомниться уже здесь, у порога, где это было нужнее всего, — хотя бы они и давали обеты следовать принципу *de omnibus dubitandum*¹. А усомниться следовало бы, и как раз в двух пунктах: во-первых, существуют ли вообще противоположности и, во-вторых, не представляют ли собой народные расценки ценностей и противоценности, к которым метафизики приложили свою печать — пожалуй, только расценки переднего плана, только ближайшие перспективы, к тому же,

¹ Во всем сомневаться (*лат.*).

может быть, перспективы из угла, может быть, снизу вверх, как бы лягушачьи перспективы, если употребить выражение, обычное у живописцев...

3

После довольно долгих наблюдений над философами и чтения их творений между строк я говорю себе, что большую часть сознательного мышления нужно еще отнести к деятельности инстинкта, и даже в случае философского мышления; тут нужно переучиваться, как переучивались по части наследственности и «прирожденного». Сколь мало акт рождения принимается в счет в полном предшествующем и последующем процессе наследования, столь же мало *противоположна* «сознательность» в каком-либо решающем смысле инстинктивному — большей частью сознательного мышления философа тайно руководят его инстинкты, направляющие это мышление определенными путями...

4

Ложность суждения еще не служит для нас возражением против суждения — это, быть может, самый странный из наших парадоксов.

Вопрос в том, насколько суждение споспешествует жизни, поддерживает жизнь, поддерживает вид, даже, возможно, способствует воспитанию вида. И мы решительно готовы утверждать, что самые ложные суждения (к которым относятся синтетические суждения *a priori*) — для нас самые необходимые; что без допущения логических фикций, без сравнения действительности с чисто вымышленным миром безусловного, самоидентифицируемого, без постоянного фальсифицирования мира посредством числа человек не мог бы

жить; что отречение от ложных суждений было бы отречением от жизни, отрицанием жизни.

Признать ложь условием, от которого зависит жизнь,— это, конечно, рискованный способ сопротивляться привычному чувству ценности вещей, и философия, отваживающаяся на это, ставит себя уже одним этим по ту сторону добра и зла.

5

Если что побуждает нас смотреть на всех философов отчасти недоверчиво, отчасти насмешливо, так это не то, что нам постоянно приходится убеждаться, насколько они невинны, как часто и как легко они промахиваются и заблуждаются, говоря короче — не их ребячество и детское простодушие, а то обстоятельство, что дело у них ведется недостаточно честно: когда все они дружно поднимают великий и добродетельный шум каждый раз, как только затрагивается проблема истинности, хотя бы только издалека.

Все они дружно притворяются людьми, якобы дошедшими до своих мнений и открывшими их путем саморазвития холодной, чистой, божественно беззаботной диалектики (в отличие от мистиков всех степеней, которые честнее и тупее их,— эти говорят о «вдохновении»), между тем как, в сущности, они с помощью подтасованных оснований защищают какое-нибудь предвзятое положение, внезапную мысль, «внушение», большей частью абстрагированное и профильтрованное сердечное желание...

6

Мало-помалу для меня выяснилось, чем была до сих пор всякая великая философия — как раз самоисповедью

ее творца, чем-то вроде мемуаров, написанных им помимо воли и незаметно для самого себя. Равным образом для меня выяснилось, что нравственные (или безнравственные) цели составляют в каждой философии подлинное жизненное зерно, из которого каждый раз вырастает целое растение. В самом деле, мы поступим хорошо (и умно), если для выяснения того, как, собственно, возникли самые отдаленные метафизические утверждения данного философа, зададимся сперва вопросом: какая мораль имеется в виду (имеется *им* в виду)?

Поэтому я не думаю, чтобы «позыв к познанию» был отцом философии, а полагаю, что здесь, как и в других случаях, какой-либо иной инстинкт пользуется познанием (и незнанием!) только как орудием. А кто приглядится к основным инстинктам человека, исследуя, как далеко они могут простираť свое влияние именно в данном случае, в качестве *вдохновляющих* гениев (или демонов и кобольдов¹), тот увидит, что все они уже занимались некогда философией и что каждый из них очень хотел бы представлять собой *последнюю* цель существования и изображать правомочного *господина* всех остальных инстинктов...

9

Вы хотите *жить* «согласно с природой»?

О благородные стоики, какой обман слов! Вообразите себе существо, подобное природе: безмерно расточительное, безмерно равнодушное, без намерений и оглядок, без жалости и справедливости, плодовитое и бесплодное и неустойчивое

¹ *Кобольды* — в мифологии Северной Европы домовые или хранители подземных богатств. В целом кобольды добродушные существа, однако могли устроить в доме хаос.

в одно и то же время; представьте себе безразличие в форме власти — как *могли бы* вы жить согласно с этим безразличием?

Жить — разве это не значит как раз желать быть чем-то другим, нежели природа? Разве жизнь не состоит в желании оценивать, предпочитать, быть несправедливым, быть ограниченным, быть отличным от прочего?

Если же предположить, что ваш императив «жить согласно с природой» означает, в сущности, то же самое, что «жить согласно с жизнью», то каким же образом вы смогли бы это сделать? К чему создавать принцип из того, что сами вы являетесь собой и чем вы должны быть?

В действительности дело обстоит совсем иначе: утверждая с восторгом, что вы вычитали канон вашего закона из природы, вы хотите кое-чего обратного — вы, причудливые актеры и самообманщики! Природе, даже природе хочет предписать ваша гордость свою мораль и свой идеал, хочет внедрить их в нее; вы желаете, чтобы она была природой, «согласной со Стоей», и хотели бы заставить все бытие принять исключительно ваш образ и подобие — к безмерной, вечной славе и всемирному распространению стоицизма!

Со всей вашей любовью к истине вы принуждаете себя так долго, так упорно, так гипнотически-обалдело к *фальшивому*, именно стоическому взгляду на природу, пока наконец не теряете способности к иному взгляду — и какое-то глубоко скрытое высокомерие в конце концов еще вселяет в вас безумную надежду на то, что *поскольку* вы умеете тиранизировать самих себя (стоицизм есть самотирания), то и природу тоже можно тиранизировать, ибо разве стоик не есть *частица* природы?..

Но это старая, вечная история: что случилось некогда со стоиками, то случается еще и ныне, как только какая-нибудь

философия начинает верить в самое себя. Она всегда создает мир по своему образу и подобию, она не может иначе; философия сама есть этот тиранический инстинкт, духовная воля к власти, к «сотворению мира», к *causa prima*¹...

14

Быть может, в пяти-шести головах и брезжит нынче мысль, что физика тоже есть лишь толкование и упорядочение мира (по нашей мерке! — с позволения сказать), а не объяснение мира; но, опираясь на веру в чувства, она считается за нечто большее и еще долго в будущем должна считаться за большее, именно за объяснение. За нее стоят глаза и руки, очевидность и осязательность; на век, наделенный плебейскими вкусами, это действует чарующе, убеждающе, убедительно — ведь он инстинктивно следует канону истины извечно народного сенсуализма.

Что ясно, что «объясняет»? Только то, что можно видеть и ощупывать — до таких пределов нужно разрабатывать всякую проблему. Наоборот: как раз в противоборстве осязательности и заключались чары платоновского образа мыслей, а это был благородный образ мыслей, и он имел место в среде людей, обладавших, быть может, более сильными и более взыскательными чувствами, нежели наши современники, однако видевших высшее торжество в том, чтобы оставаться господами этих чувств. И они достигали этого при посредстве бледной, холодной, серой сети понятий, которую они набрасывали на пестрый водоворот чувств, на сброд чувств, как говорил Платон.

В этом одолении мира, в этом толковании мира на манер Платона было наслаждение иного рода, нежели то, какое нам

¹ Первопричине (лат.).

предлагают нынешние физики, равным образом дарвинисты и антитеологи среди физиологов с их принципом «минимальной затраты силы» и максимальной затраты глупости. «Где человеку нечего больше видеть и хватать руками, там ему также нечего больше искать» — это, конечно, иной императив, нежели платоновский, однако для грубого, трудолюбивого поколения машинистов и мостостроителей будущего, назначение которых — исполнять только черную работу, он, может стать, и есть как раз надлежащий императив...

17

Что касается суеверия логиков, то я не перестану подчеркивать один маленький факт, неохотно признаваемый этими суеверами, именно, что мысль приходит, когда «она» хочет, а не когда «я» хочу; так что будет *искажением* сущности дела говорить: субъект «я» есть условие предиката «мыслью». *Мыслится (Es denkt)*: но, что это «ся» есть как раз старое знаменитое Я, это, выражаясь мягко, только предположение, только утверждение, прежде всего вовсе не «непосредственная достоверность».

В конце же концов этим «мыслится» уже много сделано: уже это «ся» содержит в себе *толкование* события и само не входит в состав его. Обыкновенно делают заключение по грамматической привычке: «Мышление есть деятельность; ко всякой деятельности причастен некто действующий, следовательно...» Примерно по подобной же схеме подыскивала старая атомистика к действующей «силе» еще комочек материи, где она сидит и откуда она действует,— атом; более строгие умы научились наконец обходиться без этого «остатка земного», и, может быть, когда-нибудь логики тоже приучатся обходиться без этого маленького «ся» (к которому улетучилось честное, старое Я).